

МАЛАЯ РОДИНА

Милая малая родина,
вот и вернулся я в срок.
Пыль да ковыль, да сиродина
вдоль твоих лёгких дорог.

Степь под колёсами стелется,
словно линияль платок.
Белое облако пенится —
тушит горящий восток.

В памяти детские родинки:
мама, сирень, сизари...
Ждут меня, милая родина,
светлые речки твои.

Ночь и костёр одинокий,
всплеск на вечерней воде,
свет от созвездий далёких,
люющийся с неба ко мне.

Словно улыбкою маминой
здесь я согрет глубоко.
Если ты, родина — малая,
что же тогда велико?

* * *

Мой тесть учил меня косить,
Хотя пыхтел — не злился.
И я, уже уставший жить,
косой водить учился.

Водил, как будто не рукой,
а курицыной лапой.

И все топтался дураком —
чудно и косолапо.

Но этот дядя — за отца,
к тому ж — суровых правил,
своей клешнёю кузнеца
мне белы руки правил.

И лишь гудел: — «Терпи, сынок!
Вот нас учили поркой...»
И я терпел. И свой стожок
поставил под пригорком.

* * *

Сижу, как кот, на солнцепёке,
отогреваюсь от зимы.
О жизни думаю, о Боге,
о пережитках старины.

Над крышей солнышко в улыбке,
сосулек свесились носы —
они ведь тоже пережитки
для наступающей весны.

Мы вместе киснем под лучами,
но это только так, на вид.
Душа парит под небесами
И телогречка — парит.

Витрины моют. И окошки
бесстрашно в мир растворены.
Мир юн и свеж. И все ж, немножко —
он пережиток старины.

ДЯДЯ САША

Дядя Саша – добрый ветеран.
Не ворчит и попусту не злится.
Дом его, открытый всем ветрам,
почему-то нравится синицам.

Я сижу с ним рядом и молчу,
внемлю байкам старого солдата.
Птицы скачут по его плечу
и клюют из телогрейки вату.

Он бубнит и ёрзает плечом –
как в бою был ловок и бесстрашен.
Но синицы знают что почём:
знай себе долбают дядю Сашу.

Дядя Саша – полный кавалер,
грудь его по праздникам – лучится!
Я молчу. Я только пионер.
Мне на плечи не садятся птицы.

* * *

В детстве с бабушкой пели «Варяга».
И там, где тянули слова:
«...во славу мы русского флага» –
клонилась её голова.

Клонилась она и дрожала,
когда запевали про Русь.
И в слове красивом «держава»
я слышал – Советский Союз.

Что знал я про Русь и про флаги,
про жизнь и про вечный покой,
когда – несмышлёныш-салага –
ей голову гладил рукой?

Не герб, не кремлёвские звезды...
Но будут мне светом всегда –
в морщинках застывшие слёзы,
которых не понял тогда.

* * *

Когда бессонницы уродец
разбередит печаль-тоску,
сую я в форточки колодец
свою горячую башку.

И так сижу, дурак-Емеля,
как пугало от воронья,
то ли страдая от похмелья,
то ли от вечного вранья.

Среди пустых ночных окошек
все пялюсь в непроглядный мрак –
недоразумение для кошек,
недоуменье для собак.

О сигарету укол yourself
и вздрогнув на свою беду,
уронит ночь ко мне в колодец
свою любимую звезду.

И до рассвета будет плакать,
стучаться ветром и дождём,
и угрожать мне вечным мраком,
и татя подсылать с ножом.

А я, от форта онемевший,
не поумневший в тридцать лет,
над спящей дочкою подвешу
зеленоватый этот свет.

Плывут томительные реки,
ломают полночь поезда...
А ей отныне и навеки –
горит звезда.

УЕХАЛ ДРУГ

Уехал друг. Уехал друг,
что был в судьбе за брата.
И даже песня режет слух
любимая когда-то.

Мы обменяем (век носи!)
два крестика нательных –
коль что и могут на Руси,
так тосковать смертельно.

В окно открытое курю,
шепчу вослед – «конешно...».
Как в детстве, думал что умру –
так неутешно.

Теперь бы горького вина –
перегорчить кручину...
Полынь, у самого окна,
весь август мне горчила.

* * *

Нас здесь у моря приютит
зима с приметами на осень.
Прощай, мой доктор Айболит,
я улетаю завтра в восемь.

Прощай. И пусть Вам повезёт,
моих депрессий врачеватель.
О, как безумно Вам идёт
и этот цвет, и это платье.

И этот слабенький порыв
любви, что вот — почти не дышит.
И этот простенький мотив
дождей, гуляющих по крышам.

* * *

Жене Валентине

За морями, где долгие зимы,
Боже мой, как я там уцелел,
десять дней я сражался со змием,
ты прости меня — не одолел.

Ты прости, что не добыл я славы,
что напрасно ходил за моря,
золотая моя забава,
легкокрылая птица моя.

Что тебе в географии странной,
что с того, что вздыхает родня?
Далеко ли заморские страны?
Под окном и не дальше плетня.

На последнем усилении воли,
спотыкаясь и пряча лицо,
я вползу, как израненный воин,
на твоё золотое крыльцо.

ТАРЛОВКА

*«...мне идти мимо свадебных карет,
похоронных дрог.»
Марина Цветаева.*

В этом имени слышу — Таруса...
Словно отзвук Маринин во мне.
Пароходишко шлёпает густо
по камской волне.

Корабельные сосны да ели —
их полет от земли высок.
Гуси-лебеди пролетели —
прострелили тоской висок.

Прострелили строкою грустной: —
«...мне идти...похоронных дрог.»
Ещё будут в судьбе Таруса
и Елабуга-городок.

А пока уплывает Тарловка,
эта сказочная сторона.
И служителя форменка старая
долго с палубы мне видна.

* * *

Откуда этот лёд и зной
в тебе, Марина?
Что ни прохожий — стороной,
чужак, чужбина.

Война, разор, несносный быт —
всё мимо, мимо...
Уж вся Елабуга горит
твоей рябиной.

Уж август отвернул лицо —
не хочет знаясь.
Взойди на низкое крыльцо
Покровской, 20.

За ненасытность — жить и быть,
за вкус малины,
за гордость жадную платить
тебе, Марина.

В помин души и в знак любви
поставлю свечку —
пусть все прохожие твои
ТАМ будут встречены!

ДОЧУРКЕ Я ДАЮ СОВЕТЫ...

Дочурке я даю советы,
как взрослою скорее стать,
я говорю: — «Вот будет лето,
а летом лет нам будет пять.»

Но отвечает дочка просто,
(как ей не верить в простоту?):
«Нет, папа, я не буду взрослой,
а то я взрослая умру.»

И дальше весело продолжит
свою кукleshную возню.
Я отвернусь, подумав — «Боже...»
И слов, конечно, не найду.

ССОРА

Слов кирпичики класть ты умела...
И росла между нами стена.
Как ты, бедная, похудела!
Из тебя выпирают слова.

Где ж ты слов этих гадких сыскала?
Видно, в наших очередуях.
Впрочем, чтобы тебе полегчало -
бормочи, топочи в сердцах.

А потом, в этом хаосе жутком,
постараюсь поспеть к утру:
развинчу твои фразы по буквам —
дочке азбуку соберу.

ЯЗЫЧНИК В ХРАМЕ

Башку не клоню покаянную
и сам не пасом — не пасу.
Я душу свою окаянную,
как нож в рукаве, пронесу.

И с нею такой, не крещённой,
гляжу с замиранием в груди:
иконы, иконы, иконы —
как скорбные лики родни.

И песни молитв и поклоны,
а я, как убитый, стою.
Я знаю — чернеют иконы,
от скорби за душу мою.

И я среди вас, но не с вами,
чужие шепчу имена...

Но вечное жуткое пламя
никак не сожжёт Перуна.

К ТВОЕМУ ГОЛУБОМУ ПЛАТЬЮ

Чтоб не блуждать тебе во мраке
моих депрессий и стихов,
я преподнёс тебе, как факел,
букет смертельных васильков.

И, право, не было мне жалко
тебя, в смятении святом,
когда букет к груди прижала
и вся сгорела в голубом...

Как круг спасательный — объятья...
И, наглотавшись синевы,
я спас тебя от плена платья,
как будто вынес из волны.

НОЧНОЕ ОЗЕРО

Пока сердце моё не остыло
доживу я свой век в рыбаках.
Почернило меня, продубило
на колючих рыбацких ветрах.

Позабыты девчонки и водка,
жизни истина — не в вине...
И скользит моя лёгкая лодка
водомеркой по чёрной воде.

Стерегут тишину вековую:
птица-лебедь, языческий страх.
В паутину его золотую
наугад заплываю впотьмах.

Не пугают меня эти тени,
эти шорохи, огоньки.
Я сложу аккуратно поленья
и огонь прикормлю с руки.

И дремлю тут замшелою кочкой,
сны качают меня, легки...
Заплывут в мои сети ночью
рыбы белые и стихи.

